

Три встречи с Чеховым

Встречал ли я Чехова. Иногда мне кажется, что нет, что это было только во сне... в мечтах... Встречи наши были мимолетными. Быть может незначительными, но в памяти моей они запечатлелись какими-то неизгладимыми черточками. Так же хорошо из юных дней моих я помню только скромный букетик полевых фиалок, поднесенный тихим вечером девушке, которую я любил.

Милое детство... Я хорошо помню только, что оно было милым, но как оно текло, самого себя, окружающих лиц и жизнь — все это я не помню. Только иногда какой-нибудь эпизод, грустный или смешной, промелькнет яркой звездочкой через туман забытого и нежно осветит все мое детство.

Хорошо помню scarlatину, которой я долго болел, когда мы еще жили в Алексине Тульской губернии, вернее, не саму болезнь, а выздоровление... Помню тот необычайно яркий весенний день, когда наконец были сорваны с окон страшные темные занавески и в комнату ворвалось целое море света, что больно и радостно сделалось глазам.

Улыбающаяся мать, как будто состарившаяся за время моей болезни, покрывала лицо мое поцелуями и слезами. Отец стоял тут же, он не плакал. Но когда затем взял мою исхудавшую ручонку и поднял высоко, как будто хотел прижать к губам, но только погладил и нагнулся, чтобы по своему обыкновению поцеловать меня в лоб — какая-то тяжелая, свинцовая капля обожгла мое лицо. Неужели это была слеза?..

Врачей лечило-мучало меня много; наверно, и я их мучил, и только один из них на минутку сумел умирить мое детское сердечко. Дело шло уже к выздоровлению, и я особенно раскапризничался, не давая доктору пощупать пульс. «Подожди... А тримбамбошки любишь?» — Тримбамбошки?.. Что такое тримбамбошки?.. — я призадумался и невольно успокоился. Чья-то длинная рука положила на подушке около меня три каких-то пастилки. Я не преминул засунуть их в рот. Конфеты были удивительно ароматны и тягучи, и, пока я их раскушивал, пульс был измерен.

Когда я выздоровел, то спросил отца, кто был тот доктор, который мне их дал. Отец сказал, что это был доктор Чехов, приехавший погостить к своему товарищу, врачу, обыкновенно лечившему нас, и добавил: «Ты эту фамилию запомни — когда-нибудь будешь хвастаться, что тебя лечил доктор Чехов». Но фамилию эту я позабыл, а тримбамбошки долго помнил. И когда я подрос и мне уже было разрешено самому ходить по магазинам, я отправился в поиски за ними. Но напрасно я про них спрашивал во всех

бакалейных магазинах, заходил даже в писчебумажные — нигде чудесных тримбамбошек не было; в аптеку зайти я не догадался.

Есть здание в милой моему сердцу Москве, при виде которого даже с Воробьевых гор, даже теперь, когда уж в волосах начинают попадаться серебряные нити, сердце мое как-то особенно начинает биться и я весь, как гимназист, подтягиваюсь и, если б курил, наверно бросил бы папироску, — это храм Христа Спасителя. Семь долгих лет — осенью, зимой и весной — эта громада с утра до вечера стояла перед глазами бедного пансионера и как бы отгораживала его от всего внешнего, негимназического мира. Бедные пансионеры! Затравленными зверьками чувствовали они себя в клетке, и не знаю, когда им было хуже: тогда ли, когда они сидели прикованные к партам во время уроков или репетиций или когда в редкие часы перемен метались по коридорам, не зная, что с собой делать. Затравленные, злые зверьки. Не любили их «приходящие», боясь, что эти, вечно голодные, потребуют у них завтрак; добровольно не отдашь — побьют. А у воспитателей, кроме мер наказания: ругательств и окриков, — другого обращения не было. И даже когда в гимназии повеяло иным, вольным духом (кажется, это было министерство Ванновского), отношение воспитателей к пансионерам старших классов по существу не изменилось. Живо я помню такую сценку: зачитался я как-то «вольной» книжкой, по-видимому, по лицу моему было заметно, что я читаю что-нибудь имеющее мало общего с «добродетельными» книжками пансионской библиотеки. Костлявая рука вырывает у меня книгу. «Кавалер, чем это увлекся? А-а... “Пестрые рассказы” А. Чехова читаете. Так... т-а-к. Кавалер вместо того, чтобы читать порядочные книги, увлекается писателями из “Будильника”... Вот где им место...» И брошенная великолепным педагогическим жестом книга полетела через открытое окно во двор. Слезы невольно навернулись мне на глаза. Когда после «репетиции» нас повели пить чай, я, улучив момент, выбежал во двор, но книги там уже не было. Оказывается, воспитатель приказал дежурному дядьке принести ее и преспокойно читал сам на сон грядущий во время своих дежурств, посапывая и хихикая втихомолку.

<...>

Помню, однажды весной мы с Володькой забрели под Никитский театр, носивший тогда какое-то высокопарное название. Двери были открыты, и виднелся освещенный вестибюль. «Нырнуть?...» Нырнули. В вестибюле сначала нам показалось, что нет никого; даже на вешалке не висело платья, и мы смело двинулись дальше. «Постой», — шепнул Володька. Около боковой вешалки толпились люди, как будто окружая кого-

то. Мы подошли поближе. Здесь были артисты с бритыми характерными лицами, и молодые женщины, должно быть артистки, и, по-видимому, театральные рабочие, и швейцар, и даже пожарный. Все что-то наперебой говорили, жались поближе к худощавому господину с надетым на один рукав теплым пальто, в мягкой черной шляпе. Господин этот как-то застенчиво улыбался и там всем горячо пожимал руки, что даже пенсне на шнурке слетело у него с носа. А когда он заговорил, почему-то все затихли... «Нет, я вас должен благодарить — спасибо, спасибо...! — И опять все зашумели и стали тесниться к нему. Какая-то изящная артистка с смеющимися глазами, но с усталым лицом подхватила его под руку и потащила всех за собой — но тут нас узрел швейцар, и нам пришлось исчезнуть.

Когда мы отошли несколько шагов от театра, всезнающий Володька спросил меня: «А знаешь, кто это?..» — «Кто?» — «Антон Чехов». — «Чехов?.. Чехонте? А я думал, что он толстый». — «Толстый... Ты, значит, “Чайку” не читал». — «Нет». — «Эх ты, пансионер!..»

<...> Как-то ехал я <...> по Варшаво-Венской железной дороге с товарищем-политехником рыжим Яном (один цвет его волос указывал, насколько он был человек опасный, красный). Ехали мы с шиком заграничным экспрессом... Не удивляйтесь: уже организовывались железнодорожные служащие, и в первую очередь были организованы служащие о-во международных спальных вагонов; и стоило было нам только сказать два-три слова пароля, и все «сезамы» для «товарищей» открывались. Мы с Яном забрались в вагон-ресторан и уселись за столик. Сейчас же к нам подскочил лакей: «Что прикажете?» Ян буркнул: «Ничего», — но я считал сидеть так неудобным (недаром Ян иногда величал меня «буржуем») и после внимательного изучения карточки прејскуранта заказал себе стакан чаю. «С лимоном, пан, прикажете или со сливками?» — «С лимоном». Ян не преминул проворчать вслед лакею: «И побольше дайте ему лимона» — и углубился в «Курьерек». Медленно прихлебывая чай, я скользил глазами по быстро мелькавшему однообразному пейзажу Мазовецкой равнины и присматривался к публике вагона. Мое внимание привлекли двое мужчин, сидевших за соседним столиком. Не столько, пожалуй, из изредка долетавших слов, сколько из едва неуловимой небрежности, невыдержанности костюма я узнал в них русских, и сердце сейчас же потянулось к ним — быть может, это кто-нибудь из милой мне Москвы. В особенности меня заинтересовал сидевший спиной ко мне в чесунчевом пиджаке и клетчатых светлых брюках. Он то долго, убедительно что-то рассказывал и заразительно весело, хотя тихо смеялся, а товарищ его

отвечал громких хохотом-басом, то вдруг закашливался протяжным, острым кашлем и надолго замолкал. «Нет, я его знаю, наверно знаю...» И по старой детской привычке и стал шептать: «Отвернись, отвернись, отвернись...» Он повернулся. Меня так и подбросило со стула: да ведь это Чехов, милый, родной Чехов, его скудная бородка на тонком одухотворенном лице. Я невольно сделал два шага вперед. Мне приветливо улыбнулись — засветилось пенсне, запрыгали складки у губ, засмеялись морщины на челе. А я вдруг ужасно сконфузился, покраснел и, сам не сознавая, что говорю, позвал лакея платить. Не помню, как я очутился на площадке, злясь и досадуя на себя, не смея вернуться в вагон. «А вдруг это и не Чехов?» Я еле дождался остановки поезда, поскорее соскочил на платформу и побежал к зеркальным окнам вагона, пристально вглядываясь в них. Мелькало много лиц, но нужного мне не было. И только когда закачали вагоны и застучали колеса, появился в окне знакомый облик. Увидев меня, жадно всматривавшегося в него, он как-то скорбно улыбнулся и (нет, это мне не могло показаться) вдруг кивнул мне головой как старому знакомому. Сердце меня не обманывало. Я с волнением снял фуражку и, восторженно махая ею, бежал за уходящим поездом и остановился только в конце платформы и долго стоял... «Пойдем же», — Ян хлопнул меня по плечу. А мне было невыразимо грустно. С открытой головой, глазами, полными слез, я провожал поезд, уносивший вдаль от меня, от нас милого Чехова, быть может, навсегда... навсегда...

Навсегда. Вагон с устрицами я уже не видел.

*Источник: А.П. Чехов и Тверской край. — Тверь: ТвГУ, 2010.
С. 151—158.*